

**Ирина ЛЬВОВА**  
г. Петрозаводск

# СЛУЧАЙНЫЕ ГОСТИ

*фрагменты романа*



## От автора

*«Случайные гости» — лирический роман о судьбах двух молодых женщин-музыкантов.*

*В представленных фрагментах повествуется об их решении после многолетней разлуки вернуться к творчеству и воссоздать свою музыкальную группу под названием «Выстрел».*

**Б**ездельники, шалопаи, сорняки на вычищенном газоне, пустые выдумщики — на какое замечательное место в мире могли мы рассчитывать? На обочину, на обочину — до тех пор, пока и там кому-нибудь не потребуется место.

Но пока нас не тронули, мы счастливы. Нам достаточно закатов и рассветов. Нас устраивает фактура вещей и фактура слов. Мы ничего не хотим исправить, не стремимся поскорей изречь истину. Мы живем где случилось и как придется. Никто не может упрекнуть нас в серьезности. Потому-то нам и не удастся промолчать, в то время как здравомыслящий человек не станет тратить попусту слов. Что делать, жизнь соблазняет нас. Более того, она неизменно нас удивляет.

И мы не можем не рассказать о нашем удивлении. Но как? Неужели вновь описывать знакомые пейзажи, чужие судьбы в манере Пруста, в манере Джойса, в манере Толстого? Неужели время непременно должно застывать в слове, образе, неужели сердечный ритм ощутим только в смене ударений, чередовании стоп, скольжении по ямба и хореем?

Тогда опять стучаться в двери монастыря литературы и, когда слово будет дано, нести его людям? Люди же хотят историй. Расскажите им повеселее об их жизни, и они уйдут радостные, оттого что не одни на белом свете, не забыты во тьме, освещены правдивым светом истории.

А что делать нам, бегущим без всякой цели вслед за ритмом, наслаждающимся

оттого, что можно звучать, звучать без конца? Как безумная скрипка, как насмешливая гитара.

Но кто это — мы? Вот еще один вопрос, на который у нас нет ответа. Больше того, он вызывает у нас множество новых вопросов. Следует ли из него, что человеческая жизнь несносна без списков и классификаций? Возможно ли иначе объяснить ее, очеловечить, если не объявить с размаху, кто мы, в каком каталоге числимся, под каким номером? И правда ли, что мы — это мы, или просто водим за нос тех, кто верит в каталоги? Что движет нами: желание приоткрыть истину или скрыть ее? Или то и другое?

Выражаемся ли мы простой формулой Я + Другой (другая, другие), где Я — величина постоянная, а Другой — переменная, создающая неопределенность мы? Или мы — это Я+Я, со всей его пластичностью и завершенностью. Я — тот же самый и другой, насколько может быть другим Я.

И разве автор и рассказчик не пример такого мы? Не лучшая иллюстрация способности Я перетекать в другого, сливаясь с ним и оставаясь при этом собою — неизменным наблюдателем ускользящей жизни?

Пусть мы — это автор и рассказчик, фигура относительно реальная и фигура относительно условная. И чтобы эта формула была очеловечена и приняла знакомые очертания, необходимо переплавить ее в образ. А значит, пришло время для имен, судеб, пейзажей. Для человеческой истории.

Мы вовсе не уклоняемся от традиционного пути литературы — создавать человеческие миры, повинующиеся потоку речи. Миры, сотканные из ассоциаций, впечатлений, снов. Миры, созданные игрой воображения. Мы не нарушаем правил игры, но и не следуем им с настойчивой педантичностью. В этом единственная наша свобода: говорить в выбранном нами ритме, но повинувшись данному природой темпераменту; вольно черпать звучания из языка, подчиняясь его законам; уходить в сторону, убежать от читателя, оставаясь с ним и не теряя из виду избранного пути.

Мы — это Я и Я, Люда и Мила, одногодки, подруги детства. Сегодня оно им кажется огромным, эпическим, подобно преданию, которое они делят на двоих. Каждая переживает свою историю, которая имеет смысл, только отраженная в другой. Люда и Мила — две души, которым суждено звучать вместе.

### Мила. Знакомство

Мила закрыла компьютер и подошла к окну. Тусклый свет осеннего вечера приглушил зелень лужайки, размыл очертания деревьев.

Давно Мила не стояла у окна просто так, без привычной цели: увидеть возвращающуюся из школы дочь, машину мужа. Теперь ей открылись безлюдная улица и огромный кусок вечернего неба. Изученный до мельчайших подробностей пейзаж показался чужим, холодным. И отчего-то сегодня он завораживал, притягивал, точно за этой картиной была скрыта другая.

У Милы не было причин останавливаться у окна, кроме охватившего вдруг беспокойства, которое требовало от нее каких-то действий. Но неясность происшедшего с нею, напротив, обрекала ее на бездействие, на настороженное изучение пейзажа за окном.

Внутри картины происходило движение. Качнулась ветка соседской магнолии, бесшумно сорвался кленовый лист. Мила замерла, и замерло все за окном. В вечернем пейзаже, как в зеркале, отражалась ее тревога.

Мила позвонила мужу, дочери, услышала их спокойные будничные голоса. Обычный осенний вечер надвигался, обещая уютную рутину, привычные занятия.

Мила попыталась ускользнуть от нелепого беспокойства, вернулась к стопке непроверенных контрольных работ. Но, читая их, она по-прежнему чувствовала печальную сырость вечера; ей чудилось, что кто-то скрывается в сером вечернем воздухе, наблюдает за ней из окна. Перелистав несколько работ, она обнаружила, что часть контрольных оставила в офисе.

Она выскочила из дому и торопливо, точно спасалась бегством, села в машину, поехала в университет.

**Людмила**

**В** семьях их называли одинаково — Люся. Люся — это Людмила. Но когда они встретились, то решили разделить длинное имя на двоих: Люда и Мила. Люда выбрала первую, самую твердую часть, потому что ей всегда приходилось быть первой, упрямо говорить «да» на бесчисленные «нет». В этом имени ей слышалось «люблю», долгое как летний июльский день, разнообразные его переливы: «да, люблю, лю, да». Не раздумывая, она повторила: «Я. Лю. Да».

Миле досталось музыкальное окончание — ми, ля — в миноре. Это была кроткая часть: застенчивая, молчаливая, ждущая перемен, терпеливо переносящая невзгоды. Мила сказала: «Мне все равно, я могу быть и Милой», потому что не знала, кто она на самом деле, какое тайное имя носит в себе.

Сначала они жили в одном дворе, а потом, когда разъехались, родители отдали их в одну музыкальную школу. Так они встретились вновь. Одна легкомысленно играла на фортепиано, другая добросовестно осваивала скрипку, но бросили и скрипку, и фортепиано они одновременно, потому что одновременно им захотелось узнать, что такое любовь.

Так совпало: они вышли из музыкальной школы, взглянули на цветущий куст сирени, новую траву, пыльный асфальт, на целующихся у крыльца голубей, и в этот миг им захотелось одного и того же, но они не знали, как сказать об этом.

— Ты куда сейчас? — спросила Люда. Ее черные глаза смеялись.

— Не знаю, — ответила Мила. Она всегда отвечала так, потому что жизнь в ее глазах была лишена определенности, разделенности на «да» и «нет». К тому же любая определенность ее пугала: ей хотелось всего и ничего, и так и по-другому.

И они пошли вместе без всякой цели, потому что хорошо было идти куда хочешь, говорить о чем хочешь.

Они уже решили бросить музыкальную школу и немедленно начать жить, потому что жизнь коротка. Покатавшись на карусели, они заговорили о том, как жить и чего искать.

— Не знаю, — сказала Мила.

— Не может быть, — закричала Люда, вспрыгнув на деревянный заборчик у карусели, — не может быть, чтобы все было просто так...

— Что все?

— Все на свете. Родилось и умрет. Должна быть какая-то тайна ...

— Мне хорошо и без тайны.

— А что ты думаешь о том, чтобы влюбиться?

Так они подошли к главному вопросу, который жег их. Им было по двенадцать, и им было что скрывать. Они уже знали промельки, улыбки, уколы в сердце, стрекот кузнечиков в траве, но не были уверены, что все это можно назвать любовью. И тут они поняли, как прекрасно, слово за словом, раскрывать свою тайну, погружаться в чужую, какое блаженство проникать в другой мир, целомудренно скрытый от остальных, нежно входить в него, позволяя медленно завладеть собою, своим прошлым, своим чувством.

Вот, оказывается, для чего разговоры!

Они вернулись домой к вечеру, не заметив, как прошел день.

**Люда. Знакомство**

**Я, Я.** Заполняющая собою мир. Охватывающая вселенную. Ограниченная лишь привычными формами мысли. И страхами. Знать опаснее, чем оставаться в неведении. Но искушение еще сильнее: вырваться, прорваться, порвать, узнать.

*Но кто догадывается о моей беспредельности, помня меня как меня, обитающей в однокомнатной «хрущевке» с видом на помойку? Пересчитывающей деньги до полочки? Штопающей рваные джинсы?*

*Даже я узнаю себя с трудом.*

*Я — просто я. Неизменная деталь пейзажа. Рост сто шестьдесят четыре, каштановые волосы, темные глаза. Прикованное к здешнему миру тело. Оно лучше меня. Никогда не хнычет по пустякам. Не бьется над неразрешимостями. Просто живет. Несет мои сомнения, неудачи к новому дню. И я не знаю, сильнее ли мой дух совершенной материи.*

Люда скребла карандашом по обрывку бумаги. С помощью обычных слов пыталась определить расстояние между собой и надвигающимся вечером. Иногда стук колес проходящего поезда отвлекал ее. Она смотрела в окно. Из окна были видны соседний двор с полуразрушенной детской площадкой, мусорные баки у магазина на углу и темно-синий край неба над старым тополем.

Колеса дальнего поезда стучали, и, казалось, вечерний мир за окном приходил в движение. Двигался и дом, в котором на четвертом этаже, у окна, сидела Люда и писала слова — перебирала их как струны на гитаре, вслушиваясь в ритм и тембр, угадывая в случайном звуке начало мелодии.

*Мое положение неизменно. На кровати, скрестив ноги, собираю слова, перебираю струны. Ношу подростковые джинсы и майку. Легкомысленно улыбаюсь. Сгораю от любопытства. Влюбляюсь с первого взгляда.*

Дом медленно проплывал мимо слепых «хрущевок», выбирался за город, почуяв свободу, летел в синем небе, среди звезд, к новому утру. Люда слушала стук колес. И вдруг она почувствовала, что невозможное, неподатливое Я, которое она отыскивала среди слов, освободилось из множества коконов и стало октябрьским вечером, теряющимся в черном небе, полном звезд. Больше не существовало барьеров между нею и миром. Жизнь больше не была ни уравнением, ни наказанием, а только тем, что она сама есть, для чего она здесь.

### Мила. Предчувствия

Мила захлопнула дверцу машины и неожиданно ощутила себя запертой в тесном пространстве. Тотчас же ей показалось, что так же невыносимо она заперта в своей судьбе, в чужой стране, в рутине, которую не выбирала. Ей захотелось выпрыгнуть из машины, пойти пешком куда глаза глядят, как когда-то в детстве они бродили с Людой, не зная еще, как они свободны от тревог и предчувствий.

По привычке — привычка всегда спасала ее от смятения — она вырулила на знакомую дорогу, и машина мягко повезла ее прежним маршрутом из дома на работу.

Кампус был пуст, редкие студенты спешили из библиотеки. Кругом царили сумерки, серые тени собрались у тусклых фонарей. Мила прошла мимо новых зданий университета, свернула к старому кладбищу. Ряды надгробий, выстроившиеся в правильном порядке — неизменная, молчаливая аудитория, — хранили мертвую тишину. Но теперь она выплеснулась на дорожки кампуса. Сердце Люси застучало громко. Бывают такие минуты, когда жизнь вдруг срывается с крепкой узды, несет по камням и ухабам в неизвестность. Что говорил ей этот серый сумрак, эта ставшая пронзительно грустной аллея? Так ли разговаривает судьба, настигнув на правильных дорожках кампуса? Так ли подбираются несчастья? Обрушивается одиночество? Мила свернула направо, к зданию факультета славистики. И здесь никого не было, опустевшие кабинеты наполняла та же мертвая тишина. Мила открыла дверь в свой офис, включила свет. Мигал автоответчик. С фотографий над компьютером, улыбаясь, смотрели на нее дочка и муж. Все было привычно, по-домашнему надежно, и Мила успокоилась. Она отыскала среди бумаг стопку контрольных и заспешила домой. Она уже потянулась к выключателю, как ее взгляд упал на незнакомый лист бумаги на столе. На нем аккуратно был нарисован пистолет, из которого вылетало пламя. Русские буквы, плясавшие в языках огня, образовывали слово «выстрел». Под рисунком крупными буквами было написано: «Я ВАС ЛЮБЛЮ!»

### Мила и Люда

*Автор, как и читатель, движем одним чувством — любопытством. Мы сгораем от нетерпения, как дети, чтобы узнать: что будет с нами, что будет с ними? Как действуют механизмы судьбы? Как проявляет себя Бог? Утешительнее всего думать, что в слове. Быть может, так он разговаривает с собою, читает то, что сам написал.*



*Роман приспособлен рождать чувство нетерпения: дороги исканий уже проложены, лишь следуй им с аккуратностью, никуда не сворачивай. О, эти узкие врата литературы! Той, что хочет быть реальностью, но остается в кругу образов, идей. Той, что хочет быть запахом земли, но может быть только идеей запаха. Заключенная навечно в замкнутой платоновской вселенной, литература может притвориться сном, видением, но никогда камнем, никогда землей, на которой обитает нетерпеливое человеческое племя.*

*Мы же упрямо хотим отыскать в эфемерном мире литературы свободу. Мы летим без правил по собственным дорогам воображения. И рядом летят наши герои, то обгоняя, то задерживаясь у живописных кочек и болотцев, у всяких мелких пузырей земли. Их судьба труднее — мы всего лишь ищем радости. Они жаждут воплощения.*

Они бродили вдвоем по весенним улицам, стремительно, болезненно раскрывавшимся для новой жизни, вдыхая ароматы первого безудержного цветенья, взявшегося ниоткуда — из бурой земли, из прошлогодней грязи. Они бродили по улицам, наслаждаясь свободой; они искали необычного и прекрасного, потому как полагали, что любовь должна быть не похожа на то, что им хорошо известно. Они пропускали без внимания усталых женщин с тяжелыми сумками, мальчишек, выпачканных сажей и машинным маслом, мальчишек на велосипедах, одноклассников, старух, сидящих у подъездов, приземистых мужчин в дешевых костюмах, взрослых парней с длинными волосами. Они оставались равнодушными к разношерстной и стертой повседневности: рассеянно проходили мимо газетных киосков, трехэтажных домов с надписями «Столовая», «Пельменная», мимо котлов на крышах и собак на поводках, мимо магазина игрушек «Детский мир», где продавались голые пупсы и жестяные пистолеты.

Они искали любовь на пыльных улицах провинциального городка, среди серых пятиэтажек, во дворах, на узких проспектах, в тесных переулках, ветшавших в бессильной скуке. Иногда они приходили на вокзал, где пахло гарью, кислыми шами, хлоркой, вдыхали

горькую жирную пыль зеленых вагонов, прибывших из дальних городов, стараясь угадать в этих запахах прекрасную жизнь иных пространств.

Они не сомневались, что красота и любовь даются каждому и нужно только терпение, чтобы отыскать их. Они упрямо проходили неизменным своим маршрутом каждый день круг за кругом.

Их взгляд, отточенный долгими поисками прекрасного, внезапно остановился на мальчишке, бежавшем по футбольному полю. Он был смугл, с длинными темными локонами и синими глазами, в которых они прочитали благородство и дерзость. Он был не похож на мальчишек, которых они знали. В его движениях не было суеты, грубости, и улыбался он легко, и бежал свободно. Они вообразили, что тот родился у моря, где жизнь ярка и упруга, а люди веселы. Они думали, что морской соленый ветер и высокое южное небо рожают людей прекрасных и свободных, как герои древних преданий, о которых они читали. Они остановились в замешательстве. Как могла попасть красота, существовавшая только в книгах, на школьный двор, изученный ими досконально? И что им нужно теперь делать?

Они готовы были распахнуть свою жизнь, чтобы поскорее впустить то прекрасное, которое они называли любовью.

Люда думала, что любовь складывается сама собой, как слова в предложении, что новое мгновение превращается во встречу, в обещанное счастье, но в жизни события не признавали грамматического порядка, не подчинялись самым страстным желаниям.

Вдвоем они строили фантастические планы завоевания, укрощения красоты, но все они были слишком сложны, чтобы их исполнить. В звенящей невесомости Люда жила последние дни, пока однажды, сбегая по школьной лестнице, не налетела на Артема (они узнали, что их героя зовут Артем), и, остановившись, она выпалила на бегу:

— Мне нужно сказать тебе очень важное.

— Что? — он услышал ее не сразу. Люда растерялась, не умея придумать слов, которые, ничего не называя, сказали бы все.

Совсем отчаявшись, она позвала его на свидание, не надеясь вовсе, что он согласится, но почему-то он согласился, и, подпрыгнув, она убежала от него стремглав, не зная, что делать с собою.

Ничто попадавшееся на пути не могло выразить ее ликования: школьный двор был сер и уныл после дождя, скамейки мокры, лица прохожих печальны, и, не соглашаясь с обреченностью этой картины, она написала на тетрадном листе самые прекрасные слова, которые знала: «Я тебя люблю!», нашла куртку Артема в школьном гардеробе, спрятала записку в карман.

Они пригласили его на заброшенное кладбище, место тайное, пригодное для дерзких фантазий и странных сближений. Они ждали его после уроков солнечным майским днем, сидя на теплых камнях разбитого могильного памятника. Кусты, только что покрывшиеся свежей зеленью, звенели птичьими голосами, неведомые травы пробивались сквозь пыль и песок, дикие заросли наступали отовсюду. Им было жутко и весело.

- Ты думаешь, он придет?
- Не знаю, подождем еще.
- Мы ждем уже два часа.
- Подождем еще.

Люда чувствовала, как тяжело движется время, мучительно перебираясь к новому часу, как медленно ползут минуты, застревают среди камней и трав.

- Пойдем, – сказала она Миле.
- Подождем еще немного.
- Зачем?
- Давай подождем.

Они увидели его в тот же день у школы. Он гонял мяч с другими мальчишками, кричал в горячке боя и не помнил о них.

- Давай подойдем к нему, – сказала Мила.
- Нет.

Они пошли вдвоем по улице, мимо домов с выцветшими вывесками «Пельменная», «Столовая», магазина «Детский мир», дальше, туда, где начинался парк. Там они смотрели на собак, гулявших с хозяевами, на коляски, в которых спали младенцы, на рыжего мальчиш-

ку, сердито крутившего педали трехколесного велосипеда, потом купили мороженое и сели на скамейку. Издалека, из неподвижного беззвучного мира, в который они внезапно попали, они увидели проходящих мимо людей: осторожно идущих по аллее старух, семейные пары, скованные молчанием и привычкой, нервных, неуверенно смеющихся девушек, тихих влюбленных, терпеливо несущих бремя любви. Жизнь этих людей теперь не была для них тайной. Они сами искали того же, что и все, стремились к неясной цели, которую для простоты называли счастьем.

Они ели мороженое молча, подавленные огромностью своих фантазий и теснотой реальности, узкими путями земной любви.

## Мила. История

### 1

Она сидела в хвосте самолета, на последнем ряду, прижавшись к огромному животу соседа. Расположившийся рядом невероятных размеров американец занимал все пространство, и ей ничего не оставалось, как сидеть неподвижно, прижавшись к теплому животу, который постепенно она стала воспринимать как отдельное доброе существо, защищавшее ее от несчастной жизни, и, согретьшись около него, она задремала, как младенец в колыбели. Нервные события последних дней забылись: и одинокое бегство на Скиннер Бьют, и нездоровые прогулки вдоль индейской реки, и недоверчивые взгляды Маши, и вечно следящее страстное око Риты, и разговоры с Левкович, похожие на задушевные, – она пробиралась сквозь них – к чему?

– Я просто устала, – объясняла она Виктору, – мне нечем дышать, мне нужна свобода. Хоть ненадолго. Иначе я сойду с ума.

– Но есть большее, чем свобода, – Виктор смешно поджимал рукой бороду и старался говорить убедительно. – Долг, например.

– Я всего лишь лечу к маме на Рождество, – говорила Мила упрямо.

– Хорошо, мы поедем в Колорадо с Машей

одни. Но я тебя не понимаю, — обиженно отвечал Виктор.

— Просто подожди, — просила Мила. — Как в сказке о царевне-лягушке, про лягушачью кожу, помнишь?

— Что за ребячество! О чем ты?

Теперь, прижавшись к чужому животу, можно было не думать о долге, свободе, не думать вообще ни о чем, а быть ничем, никем, прятаться в чужом тепле и ждать, куда вынесет тебя судьба.

## 2

Она попала в самую московскую слякоть, которая показалась ей беспросветной, удручающей, оттого что она мечтала о рождественском морозе, хрустящем снеге, о бодрости и ясности, которыми помнились ей предпраздничные дни.

Ее встретил восточный город, показавшийся ей еще более причудливым, оттого что кругом были белые, европейские лица, но с непривычным, неевропейским выражением, на которых она читала одновременно добродушие и угрюмство. Она чувствовала себя чужой в городе, язык которого она успела забыть. Неясность отношений с собой стала неясностью отношений с миром, с московскими толпами и улицами, где ей не было места.

Бегство в Россию напоминало ей бегство на Скиннер Бьют, без плана, без цели, когда само движение, усилие было ответом на все сомнения, а где-то на вершине, казалось, скрывалась точка равновесия.

Но здесь вершина была не видна, и московский пейзаж с растянутыми улицами, движениями, звуками приводил ее в смятение.

Она торопливо перебежала привокзальную площадь, осторожно, точно боясь оступиться, прошла сквозь ряды жуликоватых торговцев, мимо серых залов, серых униформ милиционеров, серых лиц грузчиков, мимо жалкого людского мира, копошившегося у вокзалов, на обочинах благополучия. Она вспомнила вокзалы своего детства — тогда они были полны надежды.

В поезде было тихо и чисто. Она разглядывала платформу за окном, медленно начавшую двигаться, вспомнила, что она дома, в России, но что из этого следует и что делать дальше, она все еще не знала. Она не знала, зачем стремилась сюда и зачем теперь едет в Питер, и что будет с нею дальше. Ее жизнь была столь запутанной теперь, когда она свернула с ясного пути, нарушила незыблемый порядок вещей, бросила дочь и мужа в Рождество.

Поезд медленно полз по московским новостройкам, постепенно набирал силы, точно угадывая ее тайное желание — двигаться без остановки, вперед, за городские окраины, округа, кольца, чтобы поскорее вырваться на свободу. Напротив нее сидел молодой человек с чистым спокойным лицом и тоже смотрел на убегающий город. Присутствие чужого человека, зажатого, как и она, в тесном купе, напоминавшем шкаф, стесняло ее, и Мила достала старый номер «Нью-Йорк Таймс», чтобы отгородить для себя пространство. Неожиданно тот обратился к ней:

— Вы домой на праздники?

Она улыбнулась в ответ.

— Вы из Нью-Йорка? — спросил он без любопытства, будто она возвращалась не с другого континента, а из подмосковного городка. Она вспомнила, что еще сегодня была в Нью-Йорке.

— Да, — Мила почувствовала, что и вправду расстояние между Нью-Йорком и заснеженным Подмосковьем несущественно, и все происходящее с ней несущественно, незначительно тоже.

И не было ничего лучше и проще, как дремать под стук колес, слушать незнакомый голос, проникаться ощущением чистоты и покоя того ясного мира, в котором жил молодой человек. Он занимался разведением лесов и, не стесняясь своей любви к молчаливым деревьям, говорил о том, как их губит человеческое невежество. Мила слушала его голос и тоже любила незнакомые северные леса и жизнь, короткую и мучительную.

Под эти сладкие русские разговоры она уснула, успокоенная открывшейся простотой жизни, а когда проснулась — в купе никого не было, а за окном стояла ночная темнота, в ко-

торой неразличимо было утро. Поезд прибыл в Петербург.

## 3

Было слишком рано, чтобы предпринимать что-нибудь, а теперь, как никогда, жизнь зависела от ее решения: ничего не было установлено, и она должна была создавать все сама. Она пила невкусный кофе в привокзальном буфете, и серый свет Петербурга незаметно проникал в окна вокзала.

Она помнила, что в Питер войти нелегко, он окружит тебя своими призраками, снами прошлого, запутает, разделит с миром, но зато нигде так не легки встречи с собою, как в городе, где прошлое отражается повсюду: в воде и в камне. Она подумала, что все в Петербурге связано с Людой и Виктором и у нее здесь нет отдельного угла для себя.

Мила набрала телефон однокурсницы Сони Власовой, умной, холодной, язвительно-высокомерной, которую она сначала опасалась, язвленно дерзила ей, пока та вдруг не приняла ее в свой круг таких же умных, сытых молодых людей. Мила почувствовала себя польщенной, отомщенной, потому Сонину благожелательность и свою признательность стала называть дружбой. Соня была единственным ее приобретением, которое она не делила ни с Людой, ни с Виктором.

Телефон долго не отвечал, наконец сонный низкий голос прогудел:

— Слушаю.

Только теперь Миле пришло в голову, что нужно назвать себя, объяснить, где она, зачем, что хочет и что здесь делает. Но это-то и было труднее всего. Все же она сделала попытку объясниться:

— Это я, — сказала она и, помолчав, добавила, — Мила Федорова.

На той стороне фыркнули недоверчиво:

— Ты прямиком из Штатов?

Это Мила могла объяснить:

— Не прямиком, через Москву.

— Не может быть, — сказали на том конце проснувшимся новым голосом, а после произ-

несли бодрой скороговоркой: я рада, так неожиданно, как там в Штатах, часов в пять завтра или послезавтра ты еще позвони, в пять.

— Да, — успела ответить Мила. — Да, — пробормотала она, повесив трубку. — Да, — сказала она пробуждавшемуся городу.

Да, вот она в городе, видевшем разные сны, знававшим разные фантазии, ему неудивительно ее робкое девичье смятение. Он помнит таких же одиноких, бесприютных, их нежные блуждания в каменных переходах.

Она одна из многих, кто идет сейчас по темным улицам, скользит по тротуарам, месит снежную грязь, спешит вперед. Вперед и выше — стремление, знакомое каждому. Оно сильнее привязанности к дому, чувства осторожности и сострадания. В лицах прохожих она видела подавленную жажду разрыва, жажду большего, чем счастье, чем благополучие, жажду другого бытия.

Она — одна из них. Женщина, спешащая в жизнь. Женщина, жаждущая знать, искушаемая шорохом листьев, журчанием воды, округлостью зеленого яблока. Женщина срывает плод, бредет по слякотному Невскому. Несет свой крест, как и все. Но там, в кармане сумки, пальто, она нащупывает зеленое яблоко. Достает его из сумки, из рюкзака, из пластикового пакета, из рая души.

Мила брела к автовокзалу, чувствуя сладкую тяжесть в кармане. Вот она скажет матери: «Смотри-ка», положит яблоко на стол, застеленный старомодной крахмальной скатертью. «Смотри-ка», — скажет она, а мать не отзовется, промолчит: «Где твои дочь и муж?», а она услышит, ответит: «В Колорадо, ведь там уже Рождество». «А ты?» — спросит мать, засобирается в магазин. «А я?» — спросит она. — А я? Зеленое яблоко на столе, тишина в комнате.

Мила спросила билет до Новгорода, ей сказали, что ближайший рейс отменен, она спросила, нет ли билета до Ельска, ей ответили: это в другую сторону, а она сказала: мне все равно.

На ней — черная куртка и черные джинсы, длинный шарф, великолепные мягкие перчатки, которые она по-детски любит, рюкзак за спиной, чемодан на колесиках, тоже нежный и мягкий. Она забирается в разбитый автобус с



надписью «Галина Бланка», садится у забрызганного грязью окна, едет. У нее зеленое яблоко в кармане, она чувствует его тяжесть. Она едет с такими же, как она, усталыми людьми, в сером, черном, едет в город своего детства с зеленым яблоком в кармане.

Но как оно оказалось в руках, почему его тяжесть так хороша, ощутима в этом старом, пропахшем бензином автобусе? Серые, серые потянулись пригороды, в слякоти, в осенней хмари; по краям разбитых дорог — ольха и тополя, сухостой по обочинам; повсюду — бесприютность, усталость, повторяющиеся километр за километром. «Это моя страна, — думает она, засыпая, — километры тоски, километры ожидания, всего, всего, а еще тяжесть зеленого яблока». Она засыпает, забывает, кто она, почему человек, не луковица, не птица, а может быть, луковица и птица, в удобных женских перчатках, длинном мягком шарфе — ведь никто не знает, куда улетает душа во сне, где обитает, о чем узнает, когда сама она едет, едет, едет в автобусе.

### Люда. Монолог

Это я. Я, я. Как странно — я.

Заклучена в непостижимом я так же неотвратимо, как в этом дне, с его утром, полуднем, сумерками, как в языке, его грамматике, словаре, синтаксисе. Сводятся ли все жизненные усилия к расширению границ знакомого я, бегству к другому, к себе? Как бы то ни было, мое я никогда не бывает мне впору.

Не так, как ясноокой Мэрион, приветствующей жизнь, которая всегда ей по размеру. Мэрион, исчерпывающей мысль короткими словами, не давая смыслу перелиться за их пределы. Мэрион вечно в плену вещей, распорядка дня, словесного ритма, мужской похоти. Она — немолкающий голос плоти, выглядывающей из ночных горшков, простыней, вареных яиц, цветов рододендрона. Ее легкомысленное я вбито в мир намертво — как втулка в паз, гвоздь в стену — нет никаких сомнений. Такая ли жизнь, лишенная рефлексии, но не музыкального оформления, — кратчайший путь к

счастью, к непосредственному бытию, к стучащему в висок «живу», когда ты оставляешь комментарии другим, измеряющим расстояние от я до я, вычисляющим траектории и скорость движения, вбивающим все несоответствия, несовпадения в слова?

Я слежу за путешествием своего Я, бредущего бесцельно (или цель не осознана мною) по разнообразным улицам, одним и тем же улицам, смущаясь от повторений, тесноты, тщетности усилий вырваться за их пределы.

И если смысл движения — преодоление своих границ, то, может быть, они размыкаются в неизведанном ты, в недоступном космосе, созерцающем, отражающем избалованное я.

Ты скажешь: разве я и ты — не два узника, скованные вдвойне, напрасно жаждущие свободы?

Я отвечу: лучше всего под дождем, когда открываешь улицу за улицей, в надежде, в отчаянной уверенности на встречу, и город отступает, не в силах противостоять твоему желанию. Ты не знаешь о собственной силе, бежишь под дождем, в пустых скверах, по промокшим улицам, пока на мосту тебя не встречает мощное крещендо, созвучие реки и дождя, обрушившегося стеною.

Кто поймет на чужих планетах, чужим разумом, что лучше всего под дождем? Я знаю, что воздух в мельчайших каплях, подвижная стена — твоя стихия, ты появишься из дождя, из чистой меланхолии дня.

Ты можешь возразить, что июльские вечерние тени тоже хороши, что в них есть незавершенность, что их гармония — в сочетании с солнечными пятнами на траве у стволов старых берез, под неподвижным небом с плывущими облаками. В этой картине есть покой и есть движение, свет и исчезновение света, страстность и рассеянность. Ты скажешь — умножение собственного я, повторение своей темы в другом опасно. Мы запираем себя на двойные запоры природы, как близнецы, зависимые вдвойне от природного механизма.

Но наша близость другая. Это непредусмотренное природой сходство — в тембре голоса, походке, взгляде. Мы рвемся в чужие небеса (а в наших широтах все томятся от тесноты), к

границам я, за которыми преодолевается земное тяготение.

Вот пример несовпадения, обернувшийся совпадением, звучанием в терцию, в унисон. Как оторвать один звук от другого, когда они переплелись, переплавились в живую эмоцию?

Мне не нравится, когда ты стоишь спиной, разглядывая добросовестно (как делаешь все ты) французский фарфор в музейной витрине, а сзади твой муж, огромный, с дьяконовской бородою и гротескным животом, осторожно, влюбленно касается твоего плеча ладонью. Ты переходишь к другой витрине, не замечая манипуляций над твоим плечом, пропадаешь за стеклом, а после садишься в изнеможении на диванчик, с улыбкой усталой и равнодушной, замечаешь нас, слишком больших среди изящной фарфоровой мелочи, на ходу сочиняешь приглашение на обед, тусклым женским голосом говоришь: «Пора».

Меня уязвляет твоя рассеянность, твой оскорбительный для живых невероятный интерес к старому фарфору, так что в первый же день после трехлетней разлуки, твоего иностранного существования мы проводим в музее, в непереносимой тишине, где все чинно и заданно навсегда — скорость шагов, выражение лиц, громкость голоса. По мне же, вещи, вырванные временем из рук хозяев, из замысловатых сервантов, голосов слуг, женских платьев, мужского тщеславия, — только знаки, которые мы расшифровываем в меру своего воображения и вкуса. Но я не о посуде.

Меня уязвляет твоя походка, холодная, размеренная, без пауз и ускорений, без тени сомнения в правильности, нужности следующего шага, без сердечных перебоев — взрослая походка. И в довершение твоей респектабельности, неподвижности, размеренности — разумный муж, строящий схемы приближения к твоим детским плечам, идеальный муж, без возможности маневра, хранящий во внутреннем кармане пиджака исчерпывающие ответы на все вопросы. Он аккуратно достает их могучими пальцами. Я не хочу думать, что ты думаешь, видя руки своего мужа. Для чего они? Для строительства каких пирамид? Для схватки с какими животными? Впрочем, что я знаю о замужестве?

Мое, длившееся два часа, от «Прощай» до «Возвращайся», до прикосновения к колючей щеке, которое до сих пор помнит моя кожа, — не в счет. Двухчасовой брак по расчету, для прописки, для музыки, для зыбкого будущего, — что может быть несерьезнее. «Вернусь — разведемся», — уходя на войну, утешает меня муж, мальчик со смешными ушами. Два часа замужества и два письма после — с нотами и текстами песен. Ни слова о войне.

Два часа — не в счет, но достаточно, чтобы заразиться чужой судьбою, нетерпением, невезеньем, авантюризмом, грустью, осторожностью в разговоре с его родителями, а еще внезапным еврейством, выведенным из фамилии мужа и тем более несомненным, что оно насмешливым блеском отражается в собственных глазах. Случайно, от вздоха, от мимолетного прикосновения, я подхватила печаль какого-нибудь джойсовского Блума, слепо следующего своим маршрутом в твердом католическом Дублине. Нашла призрачную, несомненную свободу в ловушке ожидания — мальчика, пропавшего на войне, твоего голоса, исчезнувшего за океаном. Да что я знаю о замужестве?

И все же вопреки несовпадению музейной тишины и человеческого хаоса, твоей респектабельности и моей безответственности, моего мажора, твоего мажора — я ставлю на совпадение. Я ставлю на случайность, которая выигрывает, на вдохновение, на удачу, которая выпадает, но не просчитывается. Потому я не иду следом за тобою по музейным коридорам, а выпрыгиваю из них, лечу к египетским мумиям, к выходу, к черту, и после пытаюсь спрятаться от прямых перспектив, широких проспектов, в проходных дворах, срезать углы, вынырнуть на другой стороне без притворства и объяснений, с горечью на губах. Я иду, не помня улиц, мимо вывесок, афиш, реклам и наконец оказываюсь в темной закуской, где два толстяка пьют пиво из тяжелых кружек, бросают пирожки и чебуреки в гигантские глотки. Я сажусь на затертый табурет, с осторожностью рассматриваю место, куда вынесла меня судьба — к дремлющей ли Цирцее, к своенравной Калипсо? И что же?

В этой дыре, на этом отделившемся от городского материка острове мы внезапно сталкиваемся, вылетаем навстречу друг другу, смятенные, сопротивляющиеся тому, кто подталкивает нас, кто ищет созвучий, ударяет по двум струнам одновременно.

– Привет, – говоришь ты.

– Привет, – говорю я.

Я приветствую несовпадения: все «нет», помноженные на «да», спокойствие, перечеркивающее нетерпение, бесконечное узнавание, требующее новых доказательств.

Я помню тебя, как дряхлый пес вернувшегося Одиссея.

Ты скажешь – слова разделяют, и имена, которые мы носим, – препятствие, мешающее снять осаду Я. Ты скажешь, что кроме слов, узаконивающих жизнь, есть другие сети. И само тело, своей отдельностью, женскостью, правилами, рефлексам, памятью, – разъединяет.

Так что ж? Разве мы не проходим сквозь звуки человеческих названий навстречу друг другу? И разве терпеливое тело не стремится забыть о себе, исчезнуть в другом, таком же кратком и теплом, ожидающем нежности?

И разве разъединенность – не смертельный приговор, признание повторяемости, конечности, брэнности того, что называется Я?

Но я живу без тебя, болтаясь как щепка в море, живу как умею, не отличаясь от многих, преодолевая границы с помощью тех же границ, грамматики, синтаксиса, тональности; все так же на обочине, комфортно на обочине, пока и там кому-нибудь не потребуется место.

Вот она, свобода не сказать ничего, не дрожать над словом, быть тривиальной, будничной, как дверь в подъезд, как восемь бетонных ступенек к своей квартире, как расписание автобусов, как разговоры с соседкой. О, безыскусная речь плиты и чайника, без метафор, сравнений, ученых тропов! Кто лучше расскажет о заурядности вечера, о силе времени и привычки? Свобода не рвать и не рваться. За сеткою будней – новые будни, пустая, счастливая жизнь.

Ты скажешь, что Я – всего лишь сон из детства, откуда уходишь рано или поздно. Я

отвечу тебе только тем, что буду, с той же детской походкой и детской улыбкой, с тем же ворохом слов, ускользнувших созвучий, в том же городе шести переулков. На изменчивость обстоятельств я отвечу верой в неизбежность любви, в неизменность жизни. Недолговечность чувств лишь подтверждает ее бесконечность.

Потому я по-прежнему лечу по своей орбите. Я – неизвестная планета, которая кажется мне домашней, со знакомыми мирными пейзажами, но, приближаясь к ней, я вижу лунную поверхность, пересохшие океаны, пыль древних катастроф, кратеры умерших вулканов, прах погибших галактик. Какие миры рождаются во мне? Энергией каких термоядерных реакций управляется моя негромкая жизнь? Я – Я, зажженное не мною сознание, где не существует смерти, а реальность равновелика вымыслу. Воображение подталкивает, оживляет настоящее, фантазии становятся лучше прошлого, лучше возможного будущего, я лечу по американским горкам от чувства к чувству, на бешеной скорости, в радостной жути, пока новый пожар не обожжет, и как-нибудь записка, нарочно оставленная в книге, не вспыхнет в мокрых от волнения руках, и сердце не застучит, не забьется в своей клетке.

А после холодное размышление – остывающая лава чувств. Другая жизнь я – в тисках правил, обручах неминуемой смерти.

А ты – далеко за океаном, в университетском кампусе, подруливающая на машине к дому с выстриженной лужайкой – незнакомая мне, и все же ты. Склонившись над книгой, запоминаешь ее ритм, пробуешь ее соль, пропадаешь в ее космосе, пребывая здесь и там. Так и я: ухожу, оставаясь рядом. Наше раздвоение случайно, сколько бы ни называлось причин – время, дурной характер (мой!), твоё великолепное равнодушие.

Как ты? В иных странах, в иных руках, с другими голосами, другой любовью? Протянувшая свое молчание через океан? Я доигрываю свою тему, но наша звучит, как прежде. В конце концов, мы разошлись в жизни, но не в тональности.

### Мила. История

Между тем наступившая ночь изменила город, лица людей казались сумрачнее, они двигались медленнее, поток машин наплывал множеством огней. Темнота застыла в тесных переулках.

Город возникал как из сновидения. И прогулка Милы по узким улицам среди трехэтажных домов была тоже нереальной, будто не она решала, какое направление выбрать, а кто-то другой подбирал картины, пронзительные, в своей контрастности, похожие на острые стекла калейдоскопа. Светящаяся елка на площади, и блеск витрин, и огромные лотки с толстыми вязаными носками — все было чужим, неузнаваемым, гротескным.

Ей неуютно было в этом сне, и, чтобы не идти сентиментальным маршрутом, как все маршруты прошлого, она резко повернула и направилась к вокзалу. Она хотела сыграть с судьбой и, найдя автомат, набрала номер. Это была лотерея, и она не знала, в чем состоит выигрыш и что она хочет. Но покорно ждала ответа. «Нет», — гудела трубка. «Нет», — повторила Мила. «Нет так нет», — нажала на рычаг.

Теперь она не знала, куда идти, и готова была признать свое поражение. Вероятно, она не умела жить вдали от известных путей и ее бегство лишено было смысла, или она не способна была его угадать. Она купила билет на ночной поезд до Новгорода и вышла на привокзальную площадь. Она все еще искала ясной цели для себя и вдруг, точно разом освободившись от всех сомнений, пошла вперед по знакомой улице. В двух кварталах отсюда жила ее учительница, Марина Ивановна. Теперь Мила знала, что приехала в Ельск, чтобы навестить ее и сказать запоздалое спасибо. И так, удерживая себя в границах ясности, она купила конфет и пирожных, нырнула в темный лабиринт сквозных дворов. Она обнаружила, что на парадных появились вторые железные двери с домофонами и кодовыми замками — превратив дома в унылые крепости, охранявшие бедный быт обитателей. Она растерялась, потому что искала нужную квартиру по памяти, расположению дверей и окон. Из-

менившийся вид домов обманул ее. Она огляделась. В пустом дворе не было ни души, и где-то вдалеке женщина в сером пуховике толкала коляску по ледяным колдобинам.

Это было как во сне: несомненная близость цели и несомненная невозможность до нее добраться, знакомый пейзаж, ставший чужим при приближении, ощущение безысходности и напряженное ожидание другой картины, новых, менее запутанных обстоятельств. И в это мгновение дверь соседнего подъезда распахнулась, и в полосе света Мила увидела девочку, женщину, себя — и, не уверенная больше ни в чем, застыла, опустила руки, уронив пакет с пирожными. Она нагнулась было, чтобы поднять его, и услышала знакомое: «Ты». Тихайшее ты, осторожное, ликующее — где-то слева, где-то близко, вверху, у самых губ.

### Люда и Мила

Они собрались мгновенно. Им хотелось от этого дня чего-то неслыханного, невероятного.

Они не пошли старыми детскими дорогами, напротив, пролагали новые маршруты в засыпающем городе. Сначала они остановились в сквере, чтобы, стряхнув с веток снежные шапки, искупаться в свежем сугробе, а после замерзшими руками слепить из снежных комьев пузатого пляшущего снеговика. Насладившись холодом и белизной снега, они поспешили дальше. Проходя мимо лотков с вязаными носками, они купили пару и побежали вперед, грея в них руки по очереди. Потом, соблазнившись солнечным сиянием мандаринов, они приобрели целую сетку, доставали их по одному, подбрасывали, как цирковые шары, чтобы прибавить яркости затухающему дню, а после счищали толстую корку и на ходу врезались в пахучую сладковатую мякоть. Облизав пальцы, торопливо вымыв их в снегу, они полетели по улице, волоча сетку в руках, гитару за спиной, подмечая звучащие детали городского пейзажа. Им было интересно все: ритм дорог и разговоров, темнота и электрический свет, лица людей и домов, которые казались им непри-



вычными, экзотическими, точно они попали в страну, языка которой не знали. Им хотелось дурачиться: немедленно разбудить, всколыхнуть спрессованный привычками мир. Свернув с центральной улицы, скромно украшенной голубоватыми снежинками, они вынырнули к оврагу, где множество разноцветных детишек катались с горки. Они увидели стайку смельчаков, удаło слетающих с обрывистого края, бросились туда и, выпросив санки, полетели с горы, крича от восторга. Потом, раздав оставшиеся мандарины краснощеким, вспотевшим от бега мальчишкам, они снова вышли на улицу и через минуту оказались в магазине игрушек, где блестяли, переливаясь в электрических огнях, новогодние сокровища: золотые нити мишуры, сверкающие шары и звезды, серебряные колокольчики, игрушечные короны, украшенные блестящими камнями. Они купили, не торгуясь, целый ворох этого великолепия и отправились дальше. Их вынесло к небольшому скверу. В глубине его одиноко стоял памятник Марксу-Энгельсу, а рядом темнела старая елка, под которой ночью спали бродячие собаки. Неподвижность и мрачность этого места смутила их на мгновение. Они, чуть колебавшись, набросали на еловые ветви струящиеся ленты новогоднего дождя. Отойдя на несколько шагов, чтобы оценить точность праздничной отделки, они решительно прибавили сияния и красок, бросили сказочное свое богатство на загрубевшие еловые лапы. Елка заблестела, ожила, и, довольные собой, они помчались вперед, пока, наконец, не очутились в подземном переходе. Там, не сговариваясь, они расчехлили гитару, и Люда ударила по струнам. Город сразу откликнулся на ритмы юности и дерзости, на напряженное «давай, давай», «вперед», «больше, больше» жизни, боли, любви. Он закачался, затрепетал, подвинулся в сторону. Нужны были слова, и Мила без труда вспомнила их, выговорила низким голосом, пропела свое детское раскачивающееся «о», и переход наполнился отчаянием, юной страстью, которые хорошо известны тем, кто много странствовал и добирался до вершин, и срывался с них, и шел вперед, через города, страны — к себе, к себе.

— Людмила Сергеевна? Шнитке? Это вы? — полный мужчина в норковой шапке приостановился в недоумении.

Люда улыбнулась безмятежно:

— Здравствуйте, Андрей Евгеньевич.

— Я вас не узнал. Что вы здесь делаете? — спросил Лапин в замешательстве.

— Зарабатываю на жизнь, — они расхохотались обе и снова затормозили гитару. Теперь они были заодно.

Город проходил мимо них. Подростки с наушниками, беспокойно смеющиеся девушки, угрюмые рабочие, дородные южанки в длинных черных юбках — все они протекали мимо то узким ручейком, то широким потоком, и каждый попадал на миг, на несколько шагов, в сети звуков и слов, унося их с собой. Кто-то пробегал торопливо, кто-то останавливался и кричал что-то праздничное, и они провожали всех в их незнакомые дальние жизни, в их отдельное время, пересекавшееся случайно с их временем, с их музыкой.

И в те минуты, когда они стояли вместе в темном переходе, припоминая свои старые песни, они забыли о том, кто они, кем были раньше, а стали только сплетением звуков, единым желанием. Они смотрели в одну сторону, и на их лицах одновременно появлялась улыбка, и они поправляли волосы одинаковым жестом и начинали говорить об одном и том же.

Одновременно они замолчали, потеряли замерзшие пальцы, зачехлили гитару, побежали вперед.

## Письма

### 1

**Ц**ерт возьми, где же справедливость? Или она не предусмотрена в мире, и ты всегда — там (зачем?), а я здесь. Должна ли я смиренно принять это вечное разделение? Покончить с ним одним ударом?

Смирение. Я жду тебя. Все готово к твоему приезду. Пол вымыт, и чайник на плите. А в «Афродите» расставлены стулья.

Смирение? С чередой дней без тебя?

Океан разделяет нас, несправедливо, надежно, а еще границы, время, людские условности. Эти преграды кажутся непреодолимыми. Сколько сапог надо истоптать, чтобы найти тебя? Как добраться до того невероятного далека, где ты живешь? В каких дебрях прячешься от меня, заперта на все возможные засовы?

Как мне увидеть тебя? Пролиться дождем, прилететь с кочующей стаей, попросить политического убежища?

Где ты? Мне нужно видеть тебя, быть с тобой. Где ты?

## 2

Я еду в сторону, в ненужном направлении, из будущего в прошлое. С каждым шагом все дальше от нас, новогодних и настоящих.

Но как я поймала тебя! Или ты меня? Восхитись точности нашего прицела!

Сейчас я наедине с пустым листом на мониторе. Хочу с его помощью дотянуться до тебя. Все теми же старыми словами мощу дорогу в неизвестность. Ты видишь, как я мечусь в поисках первой фразы. Я знаю, что ты уже говоришь: не все ли равно, как начать. Говори, говори, я хочу слушать.

Я жду своего рейса Денвер – Портленд. И в ожидании оборачиваюсь назад. Позади заснеженный перрон и ты, девочка в осенней куртке, бежишь наперегонки с поездом. Я смотрю, как исчезает наш город. Я помню, как опасно оборачиваться. Но это самое человеческое движение из всех, которые я знаю.

Позади дом родителей. С каждым приездом он становится теснее, меньше, а мама с отцом (я так и не привыкла называть отчима папой) беззащитнее. Мы с трудом узнаем друг друга.

– Как там, в Америке? – спрашивают они.

Я и приехала, чтобы ответить на этот вопрос. Сказать им, что у меня все в порядке, им нечего беспокоиться. Мой дорогой чемодан с подарками свидетельствует о моем благополучии. Но именно оно все больше разделяет нас. Мое благополучие видится родителям как их собственная долгожданная победа. Мне оно кажется поражением.

Видишь, мой рассказ не клеится. Может быть, потому, что рассказ держится на событиях, а моя жизнь проходит мимо событий. Мимо верстовых столбов, за которыми ширь да гладь, да шевеленье трав, да шевеленье ветра. Все, что за пределами события, – моя жизнь.

– Как вы? – спросила я маму.

– Хорошо, – ответила она сдержанно. Каждый хранит свою правду.

Я выглянула в окно. Там серел обычный январский день. Женщина несла сумки с продуктами. Она шла по ледяной дорожке с привычной осторожностью, наклонившись вперед, и в ее движениях чувствовалась усталость. Мне показалось, будто вся здешняя жизнь, с ее терпением и жертвенностью, воплотилась в медленно идущей женщине. Забыть о себе, раствориться в семье, умереть ради другой жизни – вот в чем смысл человеческого существования. И молчание, и робкая нищета, и бесконечное терпение есть только стремление к высшей жертве, к исчезновению ради лучшего будущего. И самая страшная весть для этого мира была бы о том, что жертва не нужна, бессмысленна, что сохранить свое неизмеримо прекраснее. Я сама стала этой вестью для моих родителей.

Через три дня я паковала чемодан. Слишком торопливо, слишком явно. С чувством вины. И с чувством надежды. На самом его дне, в углу, я нащупала что-то круглое, твердое. Зеленое яблоко! Как оно здесь оказалось? Ты знаешь? Ты знаешь.

Я жду своего рейса в переполненном аэропорту, кругом меня озабоченные, измученные перелетом люди, непроницаемые, чужие. Скоро я стану одной из них. Но сейчас я держу зеленое яблоко в руке и пишу тебе по-русски только нам известные вещи.

## 3

Событие?

Это со-бытие и только. Жизнь, дополненная другим звучанием. Со-четание, со-пряжение, со-единение, со-гласие ритма, дыхания, движения, и тогда любой миг – событие.

Ты — ключ ко всему, искомое значение. Мой голос, моя радость, моя свобода. Я знаю, как трудно тебе сейчас. Долг, другие судьбы — не игрушка, и я не смею тебя торопить. Мне есть что ждать.

Прошлое было только прозябанием, созреванием, когда кажется, что вся ты — огонь и движение, но на самом деле пребываешь в сухом коконе дней и ждешь, когда можно выпорхнуть — бабочкой, новым существом. И вот я порхаю на свободе. Твое сказочное появление, твоя готовность разделить мое безумие, нежность, неуверенность — невероятны.

Мы опять на расстоянии, которое неизменно, очевидно разделяет, но, вероятно, и соединяет тоже. Но сейчас я чувствую обжигающую, саднящую раздельность. Мне нужно хотя бы время от времени видеть, с каким выражением лица ты готовишь ужин, разговариваешь с дочерью, идешь на работу, пишешь мне письмо. Мне не хватает прикосновения, взгляда, всего того, что питает тело, что любит тело. А в этом теле — Я.

Может быть, тоска — это память тела. И, не умея стать мыслью, словесной формулой, я не могу избавиться от тоски. Ты сказала: «До встречи», и я хочу сохранить интонацию, тембр твоего голоса. Но так быстро выветривается их аромат. Я живу воспоминанием.

Вчера я шла по улице домой. Чернота послепраздничного января оглушает, а впереди — бесконечный тягучий февраль. Я шла бездумно, как это бывает в январе, когда переживаешь темноту и холод. Ты помнишь, в наших краях всегда существует что-то — судьба, доля, рок — что сопровождает повсюду, так что человек никогда не остается один, прислушивается к шагам поблизости. Вдруг судьба приятельски толкнет его в бок? И тотчас выкатится чудо, и шука заговорит, и печка поскачет, и судьба вывезет. Ты знаешь, что только в наших широтах растут чудеса так же просто, как в других — ананасы и яблоки.

И вот я шла домой, как вдруг в темноте услышала дребезжанье гитары, все три аккорда, когда-то разученных нами, и детский высокий голос, поющий нашу песню. Я не поверила своим

ушам. Наша песня в январской темноте! Девчонка в черной короткой куртке, обрезанных шерстяных перчатках, окруженная черной горсткой таких же мальчиков-девочек, на оттаявшей детской площадке пела нашу песню. Кругом наледь, пожелтевшие сугробы, сырость и мрак, а она пела о любви и смерти. Я прошла мимо. Мне хотелось остановиться, особенно когда она вдруг, замолчав, неловко сползла в другую тональность. Гитара дрожала в ее руках, но постепенно ее голос выровнялся, наполнился едва угадываемым счастьем. Я прошла мимо, не смея своим присутствием разрушить песню, которая когда-то принадлежала только нам. Такова чудесная реальность. Ты слышишь? Мы живы и существуем, бесцеремонно захватив два времени сразу, пребывая здесь и там.

Я жду тебя. Но я не хочу, чтобы мое нетерпение мешало тебе быть счастливой в другом месте, с другими людьми. Просто знай, что я жду тебя.

## 4

Я скучаю. По нашим дням безответственности и свободы. Мои новые, почти интимные отношения с телефоном только усиливают тоску. Телефон требует потока слов, и потому нельзя расслышать дыханья, пауз, улыбки. Слова же, что под рукой, оказываются всегда не теми, случайными, чужими.

— Как там, в России? — спросила Лида Баранова, прихожанка нашей церкви.

Моя поездка кажется всем безумной выходкой.

— Воздух полон любви, — хотела сказать я, но сказала. — По-прежнему.

— Мне хотелось бы забыть, в какой мерзкой и позорной стране я родилась, — у Лиды очень белое лицо и сухой голос, — и когда эта страна развалится, наконец, и на ее месте вырастет что-нибудь нормальное?

Левкович осторожно расспрашивала меня о Питере, который она никогда не видела. Он кажется ей прекрасным.

Вот дом, куда я вернулась. Крохотный мир, где я обитаю последнее время.

Я прячусь от разговоров, оберегая для нас

пространство, где мы можем быть наедине, — в машине по дороге домой, в офисе в неприемные часы, на кухне у плиты. Тогда я чувствую приближающуюся весну.

Дома Маша смотрит на меня вопросительно, Виктор — рассеянно-сердито, и я собираюсь духом, чтобы наконец объяснить им все. Но что объяснить? Какими словами?

Вчера я достала скрипку и услышала твой голос. Открыла тетрадь — столько в ней любви, столько свободы. Я встала утром. Мне хотелось петь.

## 5

На случай, если ты начинаешь забывать меня (ты ведь не забываешь меня, правда?) — вот мой портрет на память. Я иду по улице, между сугробами по расчищенной дорожке. Их цвет — детского крем-брюле. Я держу руки в карманах, и оттого мне кажется, что моя походка становится стремительной, по кошачьи цепкой и я могу в любой миг свернуть в сторону, взлететь над сугробом, подпрыгнуть в воздухе, перевернуться. Эта разгильдяйская походка придает мне смелости. Я напеваю новый мотив. Он живет во мне каким-то веселым облаком и щекочет внутри, отчего начинают шевелиться губы и скачет мячиком сердце. На мне старая куртка и

джинсы, и подаренный тобой бесконечный шарф, который учит меня терпению и напоминает о вечности. На губах из-за легкомысленности мотива блуждает такая же легкомысленная улыбка. Она живет своею жизнью и, в отличие от меня, не теряется, встречая мрачные лица прохожих.

Представь меня, идущей среди сугробов, по тонкой улице, со странной улыбкой. Это я. И я жду тебя.

## 6

Я пакую чемоданы. Беспутная мать, нигдедьянная жена. Сумасшедшая, меняющая рай на ад, эгоистка, падающая в никуда, — это все я. Нет человека грешнее меня, но я пакую чемоданы.

Меняю я на ты. Никчемное я — качающееся на качелях, пропадающее то и дело в случайных зеркалах, в тенетах любви.

Ты согласна на этот обмен?

Но не говори, не говори ничего. Просто будь. Со мной.

Я лечу к тебе. Пока на неделю, но это 150 часов, целых 150 часов — какое богатство!

*Полностью текст романа выйдет в издательстве ПетрГУ в 2011 году.*



**Ирина Вильевна ЛЬВОВА** —

кандидат филологических наук,

доцент кафедры

германской филологии ПетрГУ.

Автор книг «Рассказы»

(2001, совм. с Т. Мешко),

«Если бы нас спросили» (2003),

«Вариации» (2009).

Публиковалась в журналах

«Carelia», «Север», «Аврора» и др.

Член Союза писателей России.

